

ЗИМНИЙ ПУТЬ И ЗИМНИЙ СОН У ПУШКИНА И Л. ТОЛСТОГО

© Александр Иваницкий, Ксения Нагина

THE WINTER PATH AND THE WINTER DREAM BY PUSHKIN AND LEO TOLSTOY

Alexander Ivanitskiy, Ksenia Nagina

In his story “The Blizzard” (1856) and the novel “Anna Karenina” (1873), Leo Tolstoy consistently reinterprets the motifs of Petr Grinev’s dream in Pushkin’s novel “The Captain’s Daughter” (1836) and through its prism – the key motif of the novel: the winter path as a metaphor for a life path. Grinev’s path is his service with the aim to fulfil the principle of noble honor, included in the epigraph of the story. The educational content of this path is his choice between “duty” and “will”. Grinev subordinates the “will” of his desires to “duty”, but follows his “will”, protecting the life and honor of his betrothed. Pugachev, embodying the elemental principle of nature as the source of human “will”, acts as a paradoxical assistant to the hero in affirming his “will” as the highest level of the “norm”. By reproducing the image of Pugachev as the robber from Grinev’s dream in the protagonist’s second dream of “The Blizzard”, Tolstoy presents him as the embodiment of the folk-nature existence, only intuitively indicated in the blizzard movement without a path. The further reinterpretation of this image in the dreams of Anna Karenina and Vronsky was determined by the fact that the cultural and behavioral norm of nobility, stated in “The Captain’s Daughter”, became a historical past for Tolstoy in the 1870s. In particular, it was the motif of “heroic hedonism”, varied by Pushkin in his late works, which allowed taking a wife away from her unloved husband and a bride from her unwanted groom. For a nobleman, the “family thought” in “Anna Karenina” made the only possible way back. The “man with a black beard”, referring us to Pugachev, appears in the winter dreams of Anna and Vronsky, who betrayed the “family thought”, and symbolizes their boundless and fatal “self-will”.

Keywords: winter way, winter dream, elemental principle of nature, norm of nobility, movement without a path, willfulness, family thought

Л. Толстой в своем рассказе «Метель» (1856) и романе «Анна Каренина» (1873) последовательно переосмысляет мотивы сна Петра Гринева в «Капитанской дочке» Пушкина (1836) и сквозь его призму – заданные в повести значения зимнего пути как метафоры жизненного. Путь Гринева состоит в службе во исполнение принципа дворянской чести, вынесенной в эпиграф повести. Просветительно-воспитательное содержание этого пути составляет выбор между «долгом» и «волей». Гринева подчиняет «долгу» «волю» своих желаний, но следует своей воле, защищая жизнь и честь суженой. Пугачев, воплощающий стихийное начало природы как исток человеческой «воли», выступает парадоксальным помощником героя в утверждении «воли» высшей ступенью «нормы». Воспроизводя во втором сне героя своей «Метели» образ Пугачева – разбойника из сна Гринева, Толстой представляет его воплощением народно-природного бытия, которое лишь интуитивно указывается человеком в бурном движении без пути. Дальнейшее переосмысление этого образа в снах Анны Карениной и Вронского было обусловлено тем, что дворянская культурно-поведенческая норма, утверждаемая в «Капитанской дочке», стала для Толстого 1870-х гг. историческим прошлым. И в том числе – варьируемый в позднем творчестве Пушкина мотив «героического гедонизма», допускавший увод жены от нелюбимого ею мужа и невесты – от нежеланного ей жениха. «Мысль семейная» в «Анне Карениной» сделала единственно возможным для дворянина возвратный путь к ней. Отсылающий же к Пугачеву «мужик с черной бородою» предстал в зимних снах Анны и Вронского, отступивших от «мысли семейной», зеркалом их безграничного и фатального «своеволия».

Ключевые слова: зимний путь, зимний сон, стихийное начало природы, дворянская норма, движение без пути, своеволие, мысль семейная

Для цитирования: Иваницкий А., Нагина К. Зимний путь и зимний сон у Пушкина и Л. Толстого // Филология и культура. Philology and Culture. 2024. № 4 (78). С. 242–249. DOI: 10.26907/2782-4756-2024-78-4-242-249

1.

Анализируя эволюцию пушкинских сюжетно-смысловых линий в творчестве Льва Толстого, Б. М. Эйхенбаум отталкивается от слов последнего, записанных женой писателя: «Многому я учусь у Пушкина, он мой отец, и у него надо учиться» (цит. по: [1, с. 167]). В частности, линия «преданий русского семейства» из «Евгения Онегина» продолжается, по Эйхенбауму, в «Войне и мире» и «Анне Карениной», а Татьяна брак без любви Эйхенбаум видит завязкой «Анны Карениной», где роль Онегина уготована Вронскому – «более примитивн<ому>, но зато более решительн<ому>» [Там же]. Но при этом исследователь оговаривает (безусловно учитывая в том числе весьма разноречивые высказывания Толстого о Пушкине), что, переходя в художественную систему Толстого, пушкинские темы, сюжеты и герои «перерождаются» в ней. Так, Вронский для Эйхенбаума – «...такое же историческое перерождение Онегина, как Анна – перерождение Татьяны» [Там же, с. 180].

Эти «перерождения» весьма значимы в свете того, что Пушкин и Толстой олицетворяют ключевые рубежи в развитии и самосознании русской дворянской культуры Нового времени. А перспективной оптикой анализа перекличек и отталкиваний позиций двух писателей видятся сны их ключевых героев, практически всегда зашифрованно, но развернуто являющие им суть происходящего с ними и вокруг них. В снах толстовских героев отмечались сознательные авторские отсылки к пушкинским (см., напр.: [2, с. 133–138]), а значит, реальность, отражаемая в них, стала для Толстого предметом последовательного переосмысления.

2.

Сны у Пушкина и Толстого роднит связь с зимой как временем сновидения и (или) его «сюжетом». Таковы сны героев пушкинской и толстовской «Метели» (1833, 1856), Татьяны в «Евгении Онегине» (1823–1830), Гринева в «Капитанской дочке» (1836), Вронского и Анны Карениной в романе Толстого. В отличие от других времен года, зимняя природа в фольклоре – хронотоп судьбы. Это задает концепты движения, пути – в том числе в его инициационных значениях, связанных с Рождеством и Крещением; а также брачных, связанных со Святками. Это обусловило особую роль зимнего пути в романтической балладе, «нарастившей» его мотивом

зимнего сна, открывающего героям фундаментальный пласт и смысл их жизни. В русской балладе эти мотивы были сведены и обобщены «Светланой» В. А. Жуковского (1808–1812) и сыграли огромную роль в поэзии и прозе Пушкина. К «Светлане» прямо отсылает эпиграф V главы «...Онегина», посвященный сну Татьяны накануне ее именин, и косвенно – сон Марьи Гавриловны в его повести «Метель», восходящий к тому же, что в «Светлане», сюжету свидания с мертвым женихом (см. подр.: [3, с. 18–21]).

И у Пушкина, и Толстого стержнем зимнего пути становятся метель/буран – заносящие пути героя и пролагающие новые, «судьбоносные». Поэтому герой равно выступает как субъектом, так и объектом движения – несомым некоей неизвестной и лишь смутно угадываемой им силой¹. В сне Гринева в «Капитанской дочке» таким «буанным» духом зимы предстает Пугачев. Именно этот сон последовательно переосмысливается Толстым в его рассказе «Метель» и в «Анне Карениной».

3.

В «Метели» Толстого к «Капитанской дочке» почти открыто отсылает уже завязка (сон героя, заблудившегося во время езды в буран), притом что сон не сменяет явь, а переплетается с нею. У Пушкина это дано одной фразой:

«...Я находился в том состоянии чувств и души, когда сущность, уступая мечтаньям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал, и мы еще блуждали по снежной пустыне...» [4, т. 6, с. 408].

У Толстого это переплетение определит синтаксис повествования, о чем будет сказано ниже. Гринева в своем единственном сне, а рассказчик «Метели» в первом попадают в свои родовые

¹ Это также имело фольклорные основания. Зимнее божество в мифах и сказках (русский Морозко, немецкая Фрау Холле – буквально «Госпожа Метелица») олицетворяло в конечном счете именно стихийное начало зимы. А судьбоносная роль метели проясняла его/ее «прародительскую» роль в отношении героя и отсюда – «посвятительный» характер его пути. Ярким примером может служить «Лесной царь» Гете/Жуковского, который забирает сына у родного отца на правах праотца. Именно это его желание становится причиной болезни ребенка, для которого, лес (сгусток волшебного/зимнего хронотопа) становится не промежуточным участком пути, а его концом.

гнезда. В то же время главный «герой» второго сна, «вожатый», а затем разбойник в «подснежном» приюте в степи, требующий у рассказчика деньги и грозящий убить, проявляет как бы двойное преемство Пугачеву. Во-первых, – еще безымянному «*мужику с черной бородой*», которого мать представляет Гринева его отцом и просит «*поцеловать у него ручку*», а после отказа Гринева – размахивающего топором и наполняющего комнату трупами [Там же, т. 6, с. 409]. А во-вторых, – реальному Пугачеву – бунтовщику, захватившему Белогорскую крепость, которому Гринев уж отказывается целовать руку в знак признания его «царем». Герой-сновидец «Метели», во-первых, добровольно отдает требуемые деньги, а затем не по принуждению, а с «*невыразимым наслаждением... схватыва<ет> руку старичка и... начина<ет> целовать ее...*». При этом старик-разбойник фактически удостоверяет свою «отцовскую» связь с героем и соответствующее отношение к нему: «*...Он сначала вырывает ее, но потом отдает мне и даже сам другой рукой ласкает меня...*» [5, т. 2, с. 233].

Но, в отличие от пушкинского героя, сны рассказчика «Метели» не только не становятся «пророческими», но и вообще никак не проявляют какие-либо известные читателю обстоятельства его жизни: их в рассказе Толстого просто не дано, и до самого конца мы ничего не узнаем о том, откуда, куда и зачем едет его герой через буранную степь. По-видимому, именно это указывает на ключ к толстовскому переосмыслению не пушкинской фигуры Пугачева, а реальности, воплощаемой им.

В «Капитанской дочке» зимний путь Гринева для прохождения службы сначала в Оренбург, а затем в Белогорскую крепость является зачином и в известном смысле метафорой его жизненного пути – целенаправленного и состоящего в службе во исполнение принципа дворянской чести, вынесенной в эпиграф повести. «Рубежи» этого пути обозначают для Гринева отчий дом и отец; Белогорская крепость, ее комендант капитан Миронов и его дочь Маша; Оренбург и ее комендант Р***. Олицетворяет же этот путь приемница Петра Екатерина Вторая, которая, будучи тронута участием Маши, окончательно определяет судьбу героя.

Путь Гринева состоит в постоянном выборе между «хочу» и «надо», и, будучи уже рожден «*сержантом гвардии*», он всякий раз выбирает «надо», если этого требует разум и честь: по велению отца нехотя отправляется служить не в столицу, а в Оренбург; оттуда, уже по воле коменданта, в Белогорскую крепость; затем отка-

зывается от тайного увоза Маши и венчания с нею. С вступлением Пугачева в крепость он, как уже было сказано, откажется целовать руку самозваному «царю» и перейти к нему на службу – даже в благодарность за возвращенную невесту.

Однако «норма» в пути Гринева может выступать и рутиной, и он заявляет свою «волю» всякий раз, когда речь идет о защите жизни и чести его суженой, нарушая требования отца и уставы службы: дерется на дуэли с Швабриным, оскорбившим Машу²; совершает самовольную вылазку из осажденного Оренбурга в Белогорскую крепость ради ее вызволения от Швабрина и отказывается отвечать царским следователям о своих отношениях с Пугачевым, чтобы не упоминать имени суженой «*между извещениями гнусных злодеев*» [4, т. 6, с. 530]. «Воля» оказывается более высоким уровнем той же «нормы»³.

Выбор «хочу» и «надо» всякий раз сопряжен с выбором из двух «учителей», представляющих ту же оппозицию нормы и воли. «Рабу» Савельичу, фактически прививающему Гринева именно рабское подчинение житейской необходимости, противостоит учитель Бопре, олицетворяющий авантюрно-веселую суть «*учебы*». Именно его уроки фехтования помогают Гринева в дуэли со Швабриным. Оренбургскому коменданту Р***, воплощающему стойкость и терпение, противостоит (и предшествует) ротмистр Зурин, которого сам Гринев называет «*учителем*» [4, т. 6, с. 403]. Биллиард и попойка у Аринушки (в противовес сугубо скромной трапезе у оренбургского коменданта) проявляют альтернативное значение «*службы*» [Там же, с. 399 – 401]⁴.

Отцу же Гринева, воплощающему верность долгу (ушедшему в отставку после свержения Петра III, которому он присягал),

² О жизни русского дворянина XVIII в. в пространстве двух норм – службы и чести (где вторая особенно ярко проявлялась именно в отношении дуэли) см.: [6, с. 530].

³ Поэтому Гринев, по точному наблюдению Т. А. Алпатовой [7, с. 68], ни разу не выбирает между долгом и совестью. Это предопределяет становление героя «в единстве реальных противоречий и идеальной перспективы развития» [8, с. 96].

⁴ В целом послушание «рабу» Савельичу дважды могло стоить Гринева жизни и однажды – чести. Неуплата игроцкого долга Зурину впоследствии почти наверняка повлекла бы расстрел им Гринева как изменника. Недаром тулупчика Пугачеву вело Гринева к виселице уже от рук бунтовщиков. При взятии же крепости Пугачевым Савельич фактически идет против отца Гринева, от имени которого «хранит» Петрушу, – умоляя того нарушить присягу и поцеловать руку Пугачеву. Рабское следование «букве» службы уничтожает самое службу.

противопоставлен именно Пугачев. В бурном пути Гринева и его последующем сне Пугачев очевидно воплощает стихийное начало природы и отсюда «бунтарски-своевольное» («разбойное») начало человеческого естества. Его безграничное следование собственному «хочу» раскрывает сказка о соколе и вороне. Но именно в этом качестве он парадоксально выступает антагонистом – помощником Гринева. Замыкая ряд кабацких пристаней Гринева (оренбургский трактир – разбойничий умет – Бердская слобода), он суммирует идущую от природы помощь «учителей» Гринева в заявлении и утверждении им своей «воли» – как высшего личностного воплощения «нормы»⁵.

4.

Именно это социокультурное измерение жизненного/зимнего пути как развития заменяется в толстовской «Метели» принципиально иным. Два сна в рассказе очевидно составляют психологическую цепь, и второй (напоминающий о гриневском) раскрывает смысл первого. Приближение каждого из них резко меняет синтаксис повествования: безраздельно господствовавшее до этого прошедшее время в нем («Метель становилась сильнее и сильнее, и сверху снег шел сухой и мелкий; казалось, начинало подмораживать: нос и щеки сильнее зябли...») [5, т. 2, с. 218]) сменяется настоящим, и еще бодрствующий рассказчик описывает то, что он видит в эту минуту:

«...Долго после этого мы ехали, не останавливаясь, по белой пустыне... Откроешь глаза – та же неуклюжая шапка и спина, занесенные снегом, торчат передо мной... поматывается, все в одном расстоя-

нии, голова коренной... виднеется из-за спины та же гнеденская пристяжная направо...» [5, т. 2, с. 221] (здесь и далее курсив наш. – А. И., К. Н.).

Подобное «вглядывание» может говорить о стремлении открыть в обиходном, привычном его глубинную суть. Мостом к такому открыванию и становится первый сон об отрочестве героя в родительской усадьбе – времени непрерывного узнавания мира – герои которого оказываются преемниками героев настоящего:

«Советчик, что все кричит из вторых саней... в роде Федора Филиппыча, нашего старого буфетчика». И вот я вижу лестницу нашего большого дома... Федора Филиппыча с завороченными руками нанкового сюртука, который несет одну педаль... поталкивает тут, пролезает между ног...» [Там же, с. 222].

Отрочество героя и происходящее с ним в бурной степи предстает внутренне единым «большим» настоящим. Тем самым он погружается в начальную пору жизни, чтобы вновь стать ребенком и детским взглядом увидеть это «большое настоящее» в народно-природной жизни вокруг себя.

То же настоящее время выводит героя из сна – засыпание во сне означает пробуждение наяву («...валек... мучит, томит меня... как инструмент пытки, сжимает мою ногу, которая зябнет, — я засыпаю...») [Там же, с. 227]), по инерции сохраняя детский взгляд в пробудившемся герое:

«...Я открываю глаза. Все тот же... колеблющийся снег мерещится в глаза... но подле себя я вижу какие-то сани... Игнат вдруг останавливает тройку...» [Там же].

Таким образом, к фундаменту жизни героя ведет не зимний путь, а метельное движение без дороги – пребывание без прибытия. Но вскоре после пробуждения такой детски-интуитивный контакт с этой подспудной и главной жизнью заканчивается, она вновь покрывается обиходной рутинной, о которой герой вновь начинает рассказывать в прошедшем времени:

«...И он выкладывает вещи с усиленной деятельностью. Пока перекладывались, я по ветру, который так и подносил меня, подошел ко вторым саням...» [Там же, с. 228].

Открывание не приводит к открытию: в финале повести «главная» жизнь неделимых народа и природы остается «терра инкогнита» с ушедшей метелью и достигнутой станцией. Это, по-видимому, и проясняет новые

⁵ В русле балладной метафоры Пугачев стремится утвердить в отношении Гринева свои права природного праотца, условием помощи герою становится отказ того от человеческого естества (культуры как разумной меры и морали) в пользу прачеловеческого, природного. На это косвенно указывают волчьи черты его облика в устах завидевшего его издала ямщика: «Должно быть, волк или человек» [4, т. 6, с. 406–407]. Этот подтекст фигуры и роли Пугачева в отношении Гринева проявляют бесы в одноименно стихотворении Пушкина (1830). Будучи также «опознаваемы» ямщиком в той же бурной степи как возможные волки («Кони стали. Что там в поле? – Кто их знает, пень или волк...»), они «...визгом жалобным и во ем // Надрыва<ют> сердце...» [4, т. 3, с. 178] лирическому герою, драматически открывая некие неведомые ему прежде «предвечно-природные» истоки его естества. О мифопоэтическом слое «Капитанской дочки» см.: [9, с. 291–292, 306–308, 319]; ср.: [10, с. 187], [11, с. 31–45].

смыслы отсылающей к Пугачеву фигуры разбойника во втором сне. Мостом же к ним становится ключевая фигура первого сна – утопленник, которого вытаскивают из пруда на глазах у рассказчика. Утопленник задает главную мотивную линию второго сна – линию смерти. Засыпание в зимнем буране (возвращающее в прошлое) оказывается промежуточным рубежом на пути к смерти (замерзанию): «*Неужели... я уже замерзаю, – думал я сквозь сон, – замерзание всегда начинается сном, говорят...*». Оно сначала противопоставляется утоплению – главному событию первого сна («*Уж лучше утонуть, чем замерзнуть, пускай меня вытащат в неводе...*»), а потом уравнивается с ним в качестве желанного избавления от жизни как докуки:

«... а впрочем, все равно – утонуть ли, замерзнуть, только бы под спину не толкала эта палка какая-то и забыться бы... // ... желание, чтобы с нами случилось что-нибудь... трагическое, было во мне сильней маленькой боязни. Мне казалось... было бы недурно, если бы к утру... некоторые даже замерзли совершенно» [Там же, с. 232].

В самом же сне смерть как погружение в снежную область предстает состоявшейся:

«...мечты с необыкновенной ясностью... носились передо мною. Лошади становятся, снегу наносится больше и больше, и вот от лошадей видны только дуга и уши...» [Там же, с. 233].

Целью буранного пути оказывается подснежный/подземный, но при этом домашний мир. А «вожатым» (фактически проводником на тот свет) оказывается все тот же герой из детства рассказчика, Федор Филиппыч, ставший теперь ямщиком (утверждая преемство прошлого и настоящего как тождество!):

«Советчик, который есть Федор Филиппыч, говорит... что ничего, ежели нас занесет снегом: нам будет тепло. Действительно, нам тепло и уютно... Снег мягкий и теплый, как мех. Я делаю себе комнатку и хочу войти в нее...» [Там же, с. 232].

Затем же буфетчик-ямщик предстает разбойником:

«...Федор Филиппыч, который видел в погребце мои деньги, говорит: «Стой! давай деньги. Все одно умирать!» и хватает меня за ногу... Я снова схватываю его руку и начинаю целовать ее...» [Там же, с. 233].

По сути, герой просит взять его с собой. Ведь именно в этом «разбойничьем» качестве

старик проясняет свою роль проводника героя на тот свет:

«...но старичок не старичок, а утопленник...» [Там же].

Узнавание сути земной народно-природной жизни возможно лишь «по ту сторону» ее. Но «опознание» проводника как утопленника, а значит, осознание потусторонней цели «буранного» движения возвращает герою естественное желание жить: «*Это уж слишком страшно. Нет! проснусь лучше...*» [Там же].

Однако по пробуждении прежние желания героя возвращаются:

«...Я... вместо стогов... вижу какой-то дом с балконом... Меня мало интересует... этот дом... мне... хочется опять видеть белый коридор, по которому я бежал... и целовать руку старичка. Я снова закрываю глаза и засыпаю...» [Там же].

Таким образом, фундаментальная народно-природная жизнь остается в «Метели» предметом подспудного поиска и периодического интуитивного ощущения. В «Войне и мире» именно эта жизнь обретает социально- и морально-философское измерение «мысли народной», которая в «Анне Карениной» раскрывает себя как «мысль семейная». Поэтому если «Метель» лишает движение в буране заданного в «Капитанской дочке» значения целенаправленного (жизненного) пути, то в двух снах Анны и сне Вронского в романе Толстого путь отрицается уже в принципиальном для Пушкина в «Капитанской дочке» дворянско-просветительском смысле.

5.

Сны героев в романе Толстого объединены той же фигурой загадочного бородатого мужика, совершающего загадочные поступки и подспудно враждебного в отношении сновидцев. Первый Анна видит в поезде по дороге из Москвы в Петербург, где на заснеженном перроне встретит Вронского – и встреча эта явно предвещает ей гибель на рельсах:

«...что-то страшно закрипело и застучало, как будто раздирали кого-то, потом красный огонь ослепил глаза, и потом все закрылось стеной» [5, т. 9, с. 115].

Ситуативным прообразами этого сна могут выступать сторож, «слишком» закутанный «от сильного мороза» и потому не слыхавший «отодвигаемого задом поезда» [Там же, с. 75] и «задавленный» в момент приезда Анны в Москву, а также «худой мужик в... нанковом пальто», ко-

торый заходил в вагон и «смотрел на термометр» [Там же, с. 115] во время возвращения героини домой.

А. М. Ремизов [2, с. 135] первым отметил «пророческое» сходство сна Гринева и второго сна Анны, увиденного ей перед рождением дочери от Вронского. При этом Анна, как и Гринев, обнаруживает в собственной спальне страшного мужика с «взъерошенной бородой», хочет бежать, но не может [Там же, с. 397]. Однако Гринев по пробуждении не вспоминает о сне – Анна же видит мужика (копошащегося в мешке и «работающего над железом») выражением своей судьбы. Косвенно это подтверждается: тот же мужик становится последним, что представляет героине в последние мгновения ее жизни, когда она тщетно пытается остановить свое самоубийство на рельсах:

«Она хотела подняться, откинуться; но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину. „Господи, прости мне все!“ – проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом...» [Там же, с. 364].

Практически тот же сон видит Вронский, едущий к Анне после медвежьей охоты:

«...воспоминания безобразных сцен, виденных им в последние дни... связались с представлением об Анне и мужике-обкладчике, который играл важную роль на медвежьей охоте; и Вронский заснул...».

В его сне:

«...Мужик-обкладчик... маленький, грязный, со взъерошенной бородой, что-то делал, нагнувшись и вдруг заговорил по-французски какие-то странные слова... – „Но отчего же это было так ужасно?“» [Там же, с. 391].

Сам Вронский и отождествляет свой сон со сном Анны, который та рассказывает ему, истолковывая как предвестие своей смерти. Однако бесспорная содержательная преемственность снов Анны и Вронского сну Гринева выглядит опосредованной: в качестве предметов смутного переживания героями они напрямую отсылают, как представляется, именно к снам рассказчика «Метели». В романе, в отличие от рассказа, они уже безусловно ужасают обоих сновидцев своей необъяснимостью. Сновидцы при этом прямо связывают их со своей жизнью – наделяя ее тем же необъяснимым, но неизбежным ужасом. Возможно, именно в этом проявляется «историческое» оппонирование Толстого Пушкину.

Видя себя частью европеизированной Петром Великим русской дворянской культуры, Пушкин поэтически воплощал в качестве ее непреложной составляющей своего рода любовно-героический авантюризм (по слову Г. А. Лесскиса, «героический гедонизм» (см.: [12, с. 156–158], ср.: [13, с. 18–24]), допускающий связь с женой нелюбимого ею мужа (например, «Каменный Гость», автобиографизм которого опирался в том числе на роман поэта с Е. К. Воронцовой и выразился в эпиграммах на ее супруга) или увод невесты от нежеланного жениха (ср. финал «Дубровского»). Противоположный взгляд Толстого 1870-х гг. на эту проблематику был обусловлен тем, что сама дворянская культура «большого XVIII века», предполагавшая максимальную личную активность во всех ее проявлениях, была отторгнута писателем как исчерпанное историческое прошлое. Отсюда предметом апологии в «Анне Карениной» явилось не движение/развитие, а традиция – в которой, в частности, брак ставился выше любви. Отсюда позитивный путь героя-дворянина в духовном смысле мог быть только возвратным (как у четы Левина и Кити), имея своей целью постижение «мысли семейной» как проявления «мысли народной» и приобщение ей.

Отсюда в снах Анны и Вронского, противопоставивших себя этой «мысли», путь либо отсутствует, либо является роковым, погружая в фатальную «зимнюю» сферу стихийного своеволия. Напоминающий Пугачева «мужик с черной бородой» в снах героев не противостоит им в качестве судьи и палача, а выступает зеркалом их безграничного и фатального «хочу». Отсюда иной мир, который он безусловно представляет (а в отношении Анны и предвещает), получает сугубо отрицательное значение бытийного «нуля».

Связь сна Вронского с медвежьей охотой отчасти «профанирует» сон Татьяны в «Евгении Онегине» – по определению исследователя, центрального в «художественной гипнологии» Пушкина [14, с. 111]. Охота Вронского, выступающего «церемониймейстером» гостящего в России иностранного принца, носит полукوميкий характер, входя в ряд «русских удовольствий» с элементами ряжения [15, с. 34]. В сне же Татьяны медведь суммирует любимую Татьяной русскую (зимнюю) природу и народную культуру, сформировавшие основы ее духовного мира, от которой Вронский и Анна оказываются

отсечены⁶. Но медведь – и преследователь, и «вожатый» Татьяны («косматый лакей» [5, т. 5, с. 105]): воспитывая свои чувства европейской культурой (и в первую очередь иноязычными любовными романами), она ушла от него далеко вперед в своем духовном развитии. И в своем сне она движется вперед, от медведя, но благодаря его погоне. А когда она падает без сил, он несет ее туда же, куда она шла, спасаясь от него⁷. Толстой, как видим, последовательно строит свою позицию на основе пушкинских мотивов зимнего пути и зимнего сна – но в «исторической» оппозиции им.

Список источников

1. Эйхенбаум Б. М. О прозе. Л.: Художественная литература, 1969. 507 с.
2. Ремизов А. М. Огонь вещей. Сны и предсонье. Париж: Оплешник, 1954. 230 с.
3. Нагина К. А. Метельные пространства русской литературы. Воронеж: Наука-Юнипресс, 2011. 129 с.
4. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1949.
5. Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 тт. М.: Художественная литература, 1978–1985.
6. Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий // Ю. М. Лотман Пушкин. Биография. Статьи и заметки 1960–1990. СПб.: Искусство-СПб, 1995. С. 542–762.
7. Алпатова Т. А. Литературные параллели картине бурана в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка» // Литературные отношения русских писателей XVIII – начала XX веков. Межвузовский сборник научных трудов. М., 1992. С. 59–70.
8. Гиришман М. М., Стулишенко Л. П. О жанре «Капитанской дочки» // Вопросы русской литературы. Вып. 1 (39), Донецк, 1982. С. 89–107.
9. Смирнов И. П. От сказки к роману // Труды отдела древнерусской литературы Пушкинского Дома АН СССР. Т. XXVII. Л., 1972. С. 284–320.
10. Степанов Л. А. Структура комических микросюжетов в «Капитанской дочке» // Болдинские чтения. Горький в 1987. С. 178–190.
11. Агранович С. З., Рассовская Л. П. Истоки жанровой структуры «Капитанской дочки»

⁶ Онегин, отсылающий в рамках той же баллады к образу рыцаря/разбойника (см.: [16, с. 163]), концентрирует, подобно Швабрину, бездуховный, «гедонистический» негатив европейской культуры, не воспитывающей чувства героя, а разрушающей их. Тем самым Вронский, как «ряженный» убийца «ряженого» медведя, действительно выступает его профанированной репликой.

⁷ Ю. М. Лотман [6, с. 609] отмечает в этой связи двойную фольклорную роль медведя – «своего» в обрядах сватовства и враждебного людям хозяина леса в волшебных сказках.

А. С. Пушкина. // Содержательность форм в художественной литературе. Куйбышев, 1990. С. 31–45.

12. Лесскис Г. А. Пушкинский путь в русской литературе. М.: Художественная литература, 1993. 524 с.

13. Иваницкий А. И. Поэзия Пушкина как мифология поведения. М: Изд. РГГУ, 2016. 266 с.

14. Савельева В. А. Художественная гипнология и онейропозитика русских писателей. Алматы: Жазушы, 2013. 520 с.

15. Лёнквист Б. Путешествие вглубь романа. Лев Толстой: Анна Каренина. М.: Языки славянской культуры, 2010. 123 с.

16. Чумаков Ю. Н. Пушкин. Тютчев: опыт имманентных рассматриваний. М.: Языки славянской культуры, 2008. 495 с.

References

1. E'ikhenbaum, B. M. (1969). *O proze* [On Prose]. 507 p. Leningrad, Khudozhestvennaya literatura. (In Russian)
2. Remizov, A. M. (1954). *Ogon' veshchei. Sny' i predson'e* [The Fire of Things. Dreams and Pre-Dreaming]. 230 p. Parizh, Opleshnik. (In Russian)
3. Nagina, K. A. (2011). *Metel'ny'e prostranstva russkoi literatury* [Snowstorm Spaces of Russian Literature]. 129 p. Voronezh, Nauka-Yunipress. (In Russian)
4. Pushkin, A. S. (1949). *Poln. sobr. soch.: v 10 t.* [Complete Works: In 10 Volumes]. Moscow – Leningrad, izd. AN SSSR. (In Russian)
5. Tolstoi, L. N. (1978-1985). *Sobr. soch. v 22 tt.* [Collected Works in 22 Vol.]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura. (In Russian)
6. Lotman, Yu. M. (1995). *Roman A. S. Pushkina "Evgenii Onegin": Kommentarii* [A. S. Pushkin's Novel "Eugene Onegin": A Commentary]. Yu. M. Lotman. Pushkin. Biografiya. Stat'i i zametki 1960–1990. Pp. 542–762. St. Petersburg, "Iskusstvo-SPb". (In Russian)
7. Alpatova, T. A. (1992). *Literaturny'e paralleli kartine burana v romane A. S. Pushkina "Kapitanskaya dochka"* [Literary Parallels to the Snowstorm in A. S. Pushkin's Novel "The Captain's Daughter"]. *Literaturny'e otnosheniya russkikh pisatelei XVIII – nachala XX vekov. Mezhvuzovskii sbornik nauchny'kh trudov*, pp. 59–70. Moscow. (In Russian)
8. Girshman, M. M., Stulishenko, L. P. (1982). *O zhanre "Kapitanskoi dochki"* [About the Genre of "The Captain's Daughter"]. *Voprosy' russkoi literatury'*. Vy'p. 1 (39), pp. 89–107. Donetsk. (In Russian)
9. Smirnov, I. P. (1972). *Ot skazki k romanu* [From a Fairy Tale to a Novel]. *Trudy' otдела drevnerusskoi literatury' Pushkinskogo Doma AN SSSR*, t. XXVII, pp. 284–320. Leningrad. (In Russian)
10. Stepanov, L. A. (1987). *Struktura komicheskikh mikrosyuzhetov v "Kapitanskoi dochke"* [The Structure of Comic Micro-Plots in "The Captain's Daughter"]. *Boldinskie chteniya*. Pp. 178–190. Gor'kii. (In Russian)
11. Agranovich, S. Z., Rassovskaya, L. P. (1990). *Istoki zhanrovoy struktury "Kapitanskoi dochki" A. S. Pushkina* [The Origins of the Genre Structure of "The Captain's Daughter" by A. S. Pushkin]. *Soderzhatel'nost'*

form v khudozhestvennoi literature. Pp. 31–45. Kuiby'shev. (In Russian)

12. Lesskis, G. A. (1993). *Pushkinskii put' v russkoi literature* [Pushkin's Path in Russian Literature]. 524 p. Moscow, Khudozhestvennaya literatura. (In Russian)

13. Ivanitskii, A. I. (2016). *Poe'ziya Pushkina kak mifologiya povedeniya* [Pushkin's Poetry as a Mythology of Behavior]. 266 p. Moscow, izd. RGGU. (In Russian)

14. Savel'eva, V. A. (2013). *Khudozhestvennaya gipnologiya i oneiropoe'tika russkikh pisatelei* [Artistic

Hypnology and Oneiropoetics of Russian Writers]. 520 p. Almaty, Zhazushi. (In Russian)

15. Lyonnkvist, B. (2010). *Puteshestvie vglub' romana. Lev Tolstoi: Anna Karenina* [Journey into the Depths of the Novel. Leo Tolstoy: Anna Karenina]. 123 p. Moscow, Yazy'ki slavyanskoi kul'tury'. (In Russian)

16. Chumakov, Yu. N. (2008). *Pushkin. Tyutchev: opy't immanentny'kh rassmotrenii* [Pushkin. Tyutchev: An Experience of Immanent Considerations]. 495 p. Moscow, Yazy'ki slavyanskoi kul'tury'. (In Russian)

The article was submitted on 14.11.2024

Поступила в редакцию 14.11.2024

Иваницкий Александр Ильич,

доктор филологических наук,

Российский государственный гуманитарный университет,

125047, Россия, Москва,

Миусская пл., 6.

meisster@mail.ru

Ivanitskiy Alexander Il'ich,

Doctor of Philology,

Russian State University for Humanities,

6 Miusskaya Square,

Moscow, 125047, Russian Federation.

meisster@mail.ru

Нагина Ксения Алексеевна,

доктор филологических наук,

профессор,

Воронежский государственный университет,

394053, Россия, Воронеж,

Университетская площадь, 1.

k-nagina@yandex.ru

Nagina Ksenia Alexeevna,

Doctor of Philology,

Professor,

Voronezh State University,

1 University Square,

Voronezh, 394053, Russian Federation.

k-nagina@yandex.ru